

Россия. — 2004. — 27 мая — 2 июня. — С. 21

# Андрей Гаврилов ищет золотую середину. Во всем



Беседовала Татьяна Рыбакина

Имя пианиста Андрея Гаврилова после его отъезда-эмиграции из Союза в 1984 году было под не произнесенным официально, но ясно ощущаемым всеми запретом. Хотя для меломанов, полюбивших юного лауреата V Конкурса имени Чайковского (1974), никаких запретов не существовало. Они любили любую информацию, доходившую с Запада обрывочно и нерегулярно. С 2001 года артист становится все более активным участником отечественной музыкальной жизни. Правда, с течением времени однозначно восторженное отношение к нему стало куда разнообразнее. Но это никак не сказывается на его восприятии мира, жизни и искусства.

— О вас очень часто в публикациях, больше, конечно, на Западе, чем у нас, пишут в превосходной степени. Такие отзывы вызывают у вас чувство удовлетворения — ну, мол, наконец правильно оценили — или вызывают иронию?

— Я вообще очень ироничный человек, особенно — самоироничный. Может быть, потому, что я постсоветский возраст провел в Англии, где ирония — богиня. У них ирония и самоирония так развиты, что часто тормозят креативность. У англичан это слишком.

— У вас получается совмещать английское «слишком» с русским размахом?

— Мне хочется быть где-то посередине. Я всегда иду золотую середину. Во всем.

— Вы рано узнали славу... — О, да, слишком.

— Как вы устояли? — Помогла очень большая требовательность, которую мне, наверное, привила мать.

— Еще — постоянная неудовлетворенность собой и абсолютное равнодушие к успеху. Стопроцентное. Тысячпроцентное!

— Но артист не может жить без желания получить ответную зрительскую реакцию.

— Дело в том, что когда настолько высокие требования к себе, то если я им хотя бы чуть-чуть соответствую, то уже хорошо. А у публики, конечно, требования значительно ниже. Поэтому успех будет.

— Значит, голову не кружит?

— Не е-ет. Голова настолько спокойна... Потому что очень далеко до перфекции.

— Обратная сторона критического отношения и иронии — самодество.

— О, да. Здесь тоже надо иметь... по-английски это positive mental attitude — позитивное отношение к жизни.

— Из чего вы черпаете позитивное отношение к жизни?

— Из ощущения красоты, которую мы имеем в жизни. То, что нам дарит Бог, природа.

— Как давно вы к этому пришли?

— Я очень долго к этому шел. В детстве был меланхолическим. Вот посмотрите, эту картину я нарисовал, когда мне было шесть лет: я встал в истерику, когда уничтожалась деревянная Москва — вот деревянный дом, из окон теплый свет (он был на следующее утро снесен), а рядом — камен-

та, а я слишком занят своим инструментом. А камерный оркестром — я даже не считаю это дирижерством. Это можно назвать синхронизацией. Общее руководство. Мы договариваемся о концепции, о форме, о настроениях. Я немножечко руковожу в том смысле, что у меня больше знание традиции, поскольку живу в Европе очень давно. И все. А дальше — взмах руки, взмах головы дважды или трижды в течение концерта.

— Вы говорили о том, что трудно найти дирижера-партнера.

— Конечно, трудно.

— При таком изобилии замечательных имен?

— Здесь же не в именах дело. Дело в том, что должны сойтись две индивидуальности. Я недоволен в одном интервью упомянул, что это как муж и жена должны быть: такое же взаимопонимание.

— У вас есть такой дирижер?

— Я очень люблю дирижера, на мой взгляд, невероятно талантливого и очень приятного человека — Даниэле Гатти. Он — руководитель Лондонской филармонии. С ним очень приятно играть. Это выпускник Миланской консерватории, который идет по стопам Рикардо Мути. Но Рикардо Мути — довольно жесткий человек, и с ним трудно в рабочей обстановке. А Даниэле — очень интеллигентный, мягкий человек и обладает очень большой внутренней силой и шармом. И очень красивый мужчина. Это очень важно для артиста, чтобы он смотрелся.

— Вы — лауреат Конкурса Чайковского. Следите ли за ним?

— Нет, меня сильно разочаровала его деградация. Я очень люблю знаки отличия. Потому что считаю, что единственный знак отличия артиста — это любовь окружающих. Единственное поощрение, которое можно получить, — самому себе понравиться, что невозможно практически (смеется). Единственным знаком, которым я дорожил долгое время, была медаль Чайковского. Остальными «граммофонами» я шпильки замачиваю — тяжелые.

— Но конкурс — хороший старт для молодых.

— Безусловно. Но я об уровне говорю, который изменился. Михаил Плетнев — это последний высочайший уровень конкурса. А дальше все вниз. И опустилось до уровня коротких штаншек. Девочка, последняя победительница, Узхара, да она у нас в ЦМШ не поступила бы на подготовительные курсы. Это даже смешно. Все коррумпировано. Не хочу об этом говорить — неприятно.

Конкурсы превратились в кормушку. Для педагогов, для промоутеров, для рекламных агентов. Это большой бизнес теперь, в который превратились и спорт, и многое другое. Разница — в ставках. Меня это не интересует.

— Но какие-то музыканты все равно пробиваются...

— Не знаю. Я пока не вижу ни одного, кто бы вышел из этой мясорубки. Вижу огромное количество молодых дарований, которые совершенно не разбираются, а кайфуют, зарабатывая деньги. Больше ничего не вижу.

— И никого не можете выделить?

— Никого. Слушаю всех, и Ланга Ланга, и всех прочих... Эти ребята — маленькие истощенные, порочные, самодовольные нарциссики.

— Какова тогда перспектива исполнительского искусства?

— Я не могу так далеко смотреть. Потому что все это дело индивидуальное и штучное. Может быть, Ланг Ланг упадет с третьего этажа, ударится головой, впадет в депрессию и... вдруг увидит свет. Всякое бывает в жизни.

— Можно сказать, что ваша жизнь делится на два периода — советский и западный. Как сильно вас преобразовал Запад?

— Это был шок — в 18-летнем возрасте увидеть Зальцбург. После этого стремление было одно — в Европу. Учиться, учиться, учиться европейской культуре. Немецкому. Кроме того, я получил доступ к запрещенной литературе. Начал узнавать русскую философию, русские корни. Когда читал «Москва — Петушки» Ерофеева, обмирал от счастья. И так далее. Началась настоящая школа, и она была в Европе. Исключительно.

— Сейчас все это можно получить и здесь.

— На мой взгляд, здесь даже сейчас лучше. Потенци-

на называется Spasgesellschaft — «общество удовольствия».

— Есть опасность того, что Россия превратится в такое же общество.

— Да, есть. Пускай. Она так страдала, что пускай лет сто будет удовольствие.

Я не очень сильно растекаюсь мыслью по древу? Вы знаете, что в «Слове о полку Игореве» написано не «мыслью», а «мыслью»? Мысль — это белка. А ведь это выражение в русском менталитет — «растекаться мыслью по древу». На самом деле совсем другое значение. Скорее речь о скорости, белка скачет по дереву быстро.

подруга моего детства. Мы с ней были влюблены, как Ромео и Джульетта, мне было 15, ей — 13. Позже у нее было компромиссное замужество, у меня — все наперекосяк. А в трудный момент, когда меня совсем придавили, Наташа пришла сюда, в эту квартиру, увидела меня, лежащего с температурой под 40 градусов, в нервной горячке, и сказала: «Андрей, я все сделаю, чтобы тебя отсюда увести». Мы этого не скрывали. Конечно, не было бы никакой возможности, если бы она полностью не «окунула» во все отца. И мы уже занялись политической игрой. Настоя-

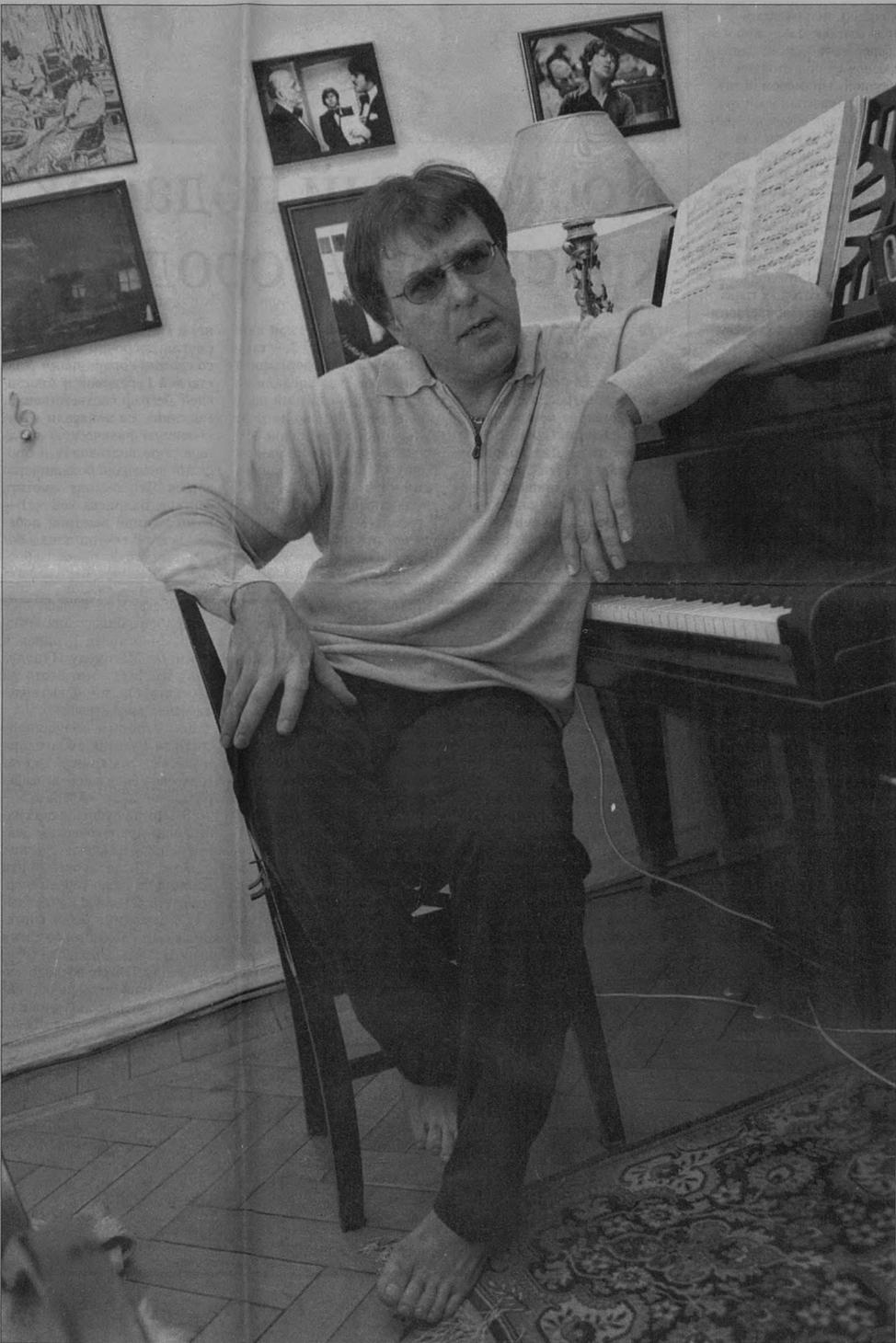


Фото Владимира Бондарова

ально лучше. Но многие не готовы. Мы-то были жадны до этого. И нам это было — как вода в пустыне. А сейчас — лежит Розанов на полках, а его никто не прочтет. Надо заставить читать его. Или — Флоренского. Мы мчались из Мюнхена в Лондон, чтобы достать брошюру Розанова...

— Но и Европа в массе своей не сильно стремится это узнать.

— Стадо. Конечно. Но там есть возможность найти источники и увидеть оригиналы. Везде надо заниматься исследовательской работой. Европа вообще превратилась после Второй мировой войны в общество кайфовщиков. Они настолько испугались, настолько и в отличие от русских быстро сообразили, что им нужно просто заняться бизнесом и кайфовать. И получилось то, что в Германии

— Сейчас в Европе живет много отечественных исполнителей. Общаетесь ли вы с ними?

— Мы очень все заняты, всю жизнь проводим со своим инструментом, по своим индивидуальным планам. Если мы пересекаемся где-то, то, конечно, сразу же начинаются посиделки, воспоминания о ЦМШ. Музыканты — это как рыбак рыбака видит издалека...

— Ревнивого отношения нет?

— Меня это не касается. Я не знаю вообще, что это такое. Этого чувства не знаю и в бытовой жизни.

— Есть такая точка зрения, что возможность выехать у вас из СССР в 1984 году появилась из-за родственных отношений.

— Да, конечно. Моя тогда жена — Наташа Алхимова —

еще, большой. На мировом уровне. Между двумя системами.

— Не страшно было?

— Страшно. Но азарт возник. Я понял, как интересно быть шпином. Хочешь свободы — борись. Хочешь использовать две противостоящие системы в свою пользу — иди. Это было наше решение. Мы рисковали жизнью. Своими жизнями — ладно, мы рисковали жизнями наших родственников. Слава богу, мы никого не похоронили.

— Свой отъезд за границу вы оценивали как отъезд по «политическим причинам».

Сохранились ли эти причины сейчас? И как для вас изменилась Россия?

— Это очень сложный вопрос. Во-первых, нельзя сравнивать безумное время тоталитарного произвола, который был тогда, с обычными

политическими российскими национальными сложностями, которые есть сейчас. Если вспомнить, из-за чего я чуть не вылетел из ЦМШ?! Из-за капутника. 1973 год, последний звонок. Наш класс до такой степени был примерным, что нас не проверила цензура. А у меня разгулялось перо на сценарии так, что я потерял все границы. И вышло очень остро: диктаторы-педагоги шагали под тему нашествия из Седьмой симфонии Шостаковича. И мне сказали, что я провел параллель между советскими педагогами и фашистами. И... волчий билет. Поменяли потом: вмешалось Министерство культуры, сказали: «А что, позитивно покрывали». «То» было ненормально, а «это» — нормально. Можно говорить о болезни и выздоравливании. Это две разные страны. Если б я этого не ощущал, меня бы здесь не было. Во-вторых, выросла уже целая генерация людей, которые не изуродованы идеологией. Я первый раз

довольно длительный, когда везде чувствовал себя туристом, иностранцем. А теперь везде чувствую себя удобно. Это следующая ступень. Мне все равно, в Гвинею я или здесь.

— Сколько языками вы владеете?

— На уровне поддержать беседу — даже и сосчитать нельзя. А свободно — тремя: немецким, английским, русским.

— А думаете на каком?

— Сны вижу на английском. Бывает, и думаю на нем. Поэтому что и другое.

— Как начал говорить ваш сын?

— Сразу на трех: он четко распределяет русский, японский и немецкий. И с немецким никогда не заговорит по-русски, со мной — никогда по-немецки. Пока я его на это не спровоцирую.

— За инструментом пока не сидит?

— Все время. Но я не хочу.

— Почему? Вы же начали в три года играть.

— Я не хочу, чтобы он шел в эту профессию. Очень трудно, очень нервно, очень нездорово. Нездоровое время-препровождение — целый день сидеть за инструментом. И для позвоночника, и для мышц, и для кровообращения. Нездоровое дальше — при успехе и выходе на концертную эстраду. Нездоровая конкуренция, очень много эгоизма и нарциссизма.

— Смогли бы вы это бросить сейчас?

— Да, конечно.

— Чем бы занялись?

— Я все люблю. Готовлю, кирпичи кладу, дома строю. Построил сам два дома. Один — в Одинцове.

— Своими руками?

— С бригадой, конечно, но своими руками.

— Когда все успеваете?

— Я очень жадный до жизни. Очень жадно живу. И сплю мало.

— Дом был большой?

— Огромный, двухэтажный. Это был самый красивый дом в окрестностях Москвы. Он, к сожалению, продан. Там сейчас живет корейский миллионер, экспортер алюминия.

— Мемориальной доски о том, что дом построен вашими руками, там нет?

— Не думаю, что этому господину подобно интересно, он занят другими делами. А я там отстроил и теннисный корт.

— А тот дом, где вы сейчас живете?

— Это замок XVIII века, его я не строил (смеется).

— В чем черпаете силу и надежду?

— В людях. Я обожаю людей. У меня позитивно-оптимистический взгляд. Человек — замечательное создание. Много животного, конечно, но все равно больше «по образу и подобию Божьему». Человек — частичка космоса. В том или ином варианте он несет какую-то закодированную чудесную информацию. Я стараюсь ее декодировать.

— Вы уверенный в себе человек?

— Когда я преодолеваю приступы неуверенности, тогда я очень уверенный. Когда мне удается распутать все знаки вопросов, которые накопились и чудовищным грузом на меня давят, то в этот момент я чувствую очень большую уверенность. ...До возникновения следующего момента.

— Когда вы еще выступите в Москве?

— Понятия не имею. Это все возникает спонтанно. Ничего не планирую больше чем на 3—4 месяца. Я против многолетнего расписания, считаю это порочным.

— Но с вами же трудно им-пресарно.

— А я с ними не работаю. Все сам. Так спокойнее. Концерт, о котором мы говорили, как получился? Позволил в Москву, сказал, что очень хочу сыграть Баха. У меня было 20 дней подготовки, и я — здесь. Сейчас здесь есть такие бизнес-леди, бизнесмен-Замечательные! Акулы!

— Какая для вас Москва?

— Вавилон. В хорошем смысле. Я вообще в Содомский грех не верю. Комфортно себя здесь чувствую, слышком. Москва только географически неудачно расположена. Главная активность — европейская, и мне три с половиной часа лететь до центра Европы неудобно. Только это, только география.

## Слова

Святослав Рихтер вспоминал о прослушавшей совместной с Андреем Гавриловым записи Генделя (документальный фильм режиссера Брюно Монсенжона):

«Интересно, что слушающие со мной друзья, которым я не объявлял, какую сюиту кто играет, принимали очень часто Гаврилова за меня и наоборот. Да и я, если бы не знал, кто играет, может быть, тоже спутал бы двух пианистов. С самого начала моего прослушивания мне гораздо интереснее показались Гаврилов, несмотря на некоторую безупречность рихтеровского исполнения».